

# В сторону леса

## Повесть

**Я РОДИЛАСЬ** в то время мгновенных страшных перемен, когда старые многокомнатные бараки только-только начинали сносить, а в новеньких домах стали появляться электрические плиты с духовым шкафом. Я сразу полюбила свой город, как только впервые самостоятельно ступила на его неровный, очерченный с обеих сторон галькой тротуар. Полюбила за его непохожесть на другие города, которую скорее чувствовала, нежели понимала, но чувствовала всегда и очень остро.

Мой город находился всего в нескольких километрах от Москвы. Можно было назвать его почти столицей, но было в нём что-то, что не позволяло сделать это. Что-то, что висело в воздухе над ним и давило на него так, как туман давит на людей, страдающих астмой. И я всегда, с самого детства, ощущала необъяснимую страшную тоску по тому миру больших огней и больших подземных поездов — миру, мне недоступному. Я часто ходила к станции — смотрела на огромные электропоезда с освещёнными вагонами, полными людей, провожала их взглядом и мечтала, чтобы и меня когда-нибудь унёс

прочь такой вот огнедышащий вагон, превращающийся в острую зелёную стрелу.

Я любила свой город, но не могла ему простить этого чудовищного провинциального запаха, как мы иногда не можем простить родителям, что они зарабатывают слишком мало денег. Я боялась, что так никогда и не узнаю, что же находится там — за пределами моего маленького мира, куда каждое утро уезжали сотни самых разных счастливых, как мне казалось, людей. Я не понимала тогда, что и их гонит отсюда эта необъяснимая тоска.

В моём городе всегда пахло провинцией. Я уловила этот запах сразу, как только научилась дышать. Это ощущалось всюду: в улыбках людей, в их взглядах, походке, в их одежде, в их духах. В их квартирах. Это был запах того, что обычно называют Подмосковьем. Как только я сделала свой первый шаг, даже задолго до этого — когда я ещё и ходить-то толком не умела, когда я только училась, уже тогда я почувствовала это. Я пыталась смыть с себя это клеймо, но запах шёл за мной, будто он породил меня, заставлял постоянно оборачиваться и смотреть ему в глаза, словно хотел унижить, показать, что без него я — ничто. И чем сильнее я пыталась от него избавиться, тем громче и пронзительней был его смех и быстрее его шаги за мной. Тогда я полюбила и этот

запах тоже, но полюбила из-за невозможности что-то изменить.

Я родилась, когда деревья за моим окном были ещё совсем крохотными, и окна у нас были такие, что если зимой подходить к ним близко — становилось неприятно холодно и мерзко. Мы обклеивали их бумагой, затыкали щели ватой и ставили между рамами игрушечных Дед Морозов и пластмассовых зайцев, обсыпая их серой мишурой, отчего создавалось впечатление счастья и сказочности того, что происходило вокруг. Было красиво и немного странно. Весной эти Дед Морозы и зайцы становились пыльными и с каждой новой зимой всё бледней и бледней. И я навсегда запомнила то ощущение неестественности, которое создавал этот оконный холод и печальные игрушечные глаза за рамами.

Я ничем не выделялась среди своих сверстников. Не умела красиво писать, научилась читать точно тогда, когда и положено детям научиться читать, и не умела делать того, чего бы не умели делать другие дети. Обидно не было — было ощущение, что я — это всего лишь я. Не больше, не меньше.

Я поступила в школу тогда же, когда и положено поступать в школу. Не отличалась способностью к рисованию, не умела играть на пианино, не любила вышивать крестиком или крючком, не любила вязать, не держала в руках гитару или скрипку, не умела кататься на коньках и плавать. Я получала столько «солнышек» в своей первой школьной тетради, сколько положено получать девочке в моём возрасте. Единственное, что отличало меня от других детей, — это моя семья.

\* \* \*

У меня была хорошая полноценная семья. Редкость — у моих подруг не было отцов, а если и были, то постоянно пьяные, пахнущие мерзким мужицким провинциальным запахом, от которого сводило скулы и хотелось бежать прочь. Я помню, как рыдала моя одноклассница, когда на родительское собрание пришёл её отец — огромный, пьяный, с красными руками и трясущейся головой. Как он сломал дверь, как вызывали милицию, как потом она неделю не ходила на занятия, потому что не могла вынести сочувственных понимающих взглядов подруг и учителей. Я всегда боялась этого — не пьянства, а того, что в моём маленьком, продолжающем сжиматься городе невозможно что-то утаить.

Здесь все с тобой здороваются, спрашивают о чём-то, дают денег, если знают, что у тебя

их нет. Не дают, если знают, что всё равно пропьёшь. И весь город знал, что мой отец — исключение, что у него не слезливые затуманенные глаза, что он каждый месяц приносит домой зарплату и не играет в шашки во дворе. Знали и завидовали. А я завидовала им.

Потому что я никогда не любила свою семью. Потому что у них у всех было право ненавидеть своих отцов, а у меня такого права не было. Но почему-то именно они каждый вечер в темноте шли во двор, расталкивали знакомых алкашей и забирали своих пап домой, пока ещё те были в состоянии ходить, а я, когда замечала своего отца на улице, переходила на другую сторону, лишь бы не встретаться с ним. Может быть, я хотела быть как все. Может быть, я ненавидела его, потому что он не дал мне такой возможности. Может быть, когда мои подруги бегали встречать поезда и мечтали уйти из дома, я не бегала с ними, потому что у меня была семья, в которую многие хотели попасть, а не сбежать от неё. Мне же хотелось уехать в Москву, чтобы навсегда потеряться там — среди сотен точно таких же счастливых семей.

Нет, мой отец не был каким-то особенным отцом. Так же, как все, закончил школу — не хорошо и не плохо. Так же, как и многие, поступил в институт. Так же, как и другие, отслужил в армии. Так же, как и большинство его друзей, женился и через несколько лет развёлся. Потом женился ещё раз на моей матери — и родилась я. Может быть, ему повезло немного больше, чем другим. Может быть, он просто чувствовал свою ответственность за меня, какую чувствуют обычно за поздних детей. Чувствовал, что должен дать мне немного больше, чем мог.

Когда я пошла в школу, отец зарабатывал много денег. Он работал на заводе литейщиком, и от него всегда пахло машинным маслом и гарью. И руки его были коричневые от копоти и все в мелких порезах, которые не успевали заживать, как на их месте появлялись новые. Он просил меня смазывать их кремом и зелёнкой — и я помню запах его ладоней. Иногда он подрабатывал где-то — стеклил балконы, делал мелкий ремонт, за который хорошо платили.

У нас была машина, и отец привозил меня в школу каждый день. И мои одноклассники с удивлением и, наверное, с завистью смотрели мне вслед. Я помню, как отец привёз меня на моё первое сентября. Остановился у дверей школы и открыл дверь. И первое, что я увидела, — это десятки глаз, обращённых на меня, словно я была ангелом, сошедшим к ним и заговорившим на непонятном и страшном языке.

Был девяносто третий год — и для моего города машина, остановившаяся рядом с обычной обшарпанной школой, в которой не делался ремонт с самого дня её основания, настоящее чудо. И я чувствовала свою незаконность, словно я не должна была быть сейчас здесь, но не быть здесь означало признаться в собственной исключительности. А мне, как и всем детям, чувствовать свою исключительность было мучительно неприятно.

Я была для города и всех, кто жил в нём, предателем. Человеком, поправшим саму суть провинциальных городов. Я была тем, кем мечтали стать многие дети, но кого презирали, как удачливого врага. И тогда я ненавидела отца за то, что он невольно погружает меня в эту чуждую мне действительность.

Я со страхом ждала каждого утра, когда мне в сотый раз придётся пройти эту отвратительную милю от открытой двери машины до порога школы, и все, кто окажется в этот момент рядом, застынут и будут провожать меня глазами, пока я, поправляя сползавший огромный рюкзак, не скроюсь за тяжёлыми дверьми.

\* \* \*

Отец очень много работал. С каким-то азартом. Словно при игре в тире, где главное — прицел и скорость. Он всегда копил на что-то. Сначала на машину, потом на новую машину. Складывал деньги всегда в одно и то же место. Однажды он позвал меня и показал свой тайник. «Если что-то случится», — сказал он. «Но что может случиться?» — спросила я, глядя на доллары, аккуратно перевязанные резинкой. Доллары. Я ненавидела его и за эти доллары тоже.

Мама не знала о них — и я была рада, что у нас с отцом появился общий секрет, что можно было иногда за ужином перемигиваться и переговариваться, точно воры, утаившие от своего сообщника часть клада. Впрочем, мы очень редко ужинали вместе. Я и отца-то видела только по утрам — он приходил часто далеко за полночь, сразу ложился спать, и сейчас я с трудом вспоминаю, каким он был тогда — в его сорок лет.

Он говорил, что должен всё успеть, пока ещё может. Заработать столько, сколько возможно, потому что когда-нибудь всё закончится. Он хотел обеспечивать нашу семью, хотел, чтобы мама не работала, и завод давал ему такую возможность. Отец брал сверхурочные и часто выходил по праздникам. Мне казалось, он чего-то боялся. Постепенно его беспокойство переда-

лось мне, и я, когда никого не было дома, заглядывала в наш с ним тайник, пересчитывала деньги и успокаивалась, только когда их было, по моему мнению, достаточно. Иногда его страх становился невыносимым: он кричал на маму за то, что она много тратит, кричал на меня за то, что я покупаю много не нужных мне вещей, кричал на самого себя, когда не получал премии или брал слишком мало дополнительных часов на заводе.

— Я чувствую, что что-то меняется, — говорил он моей матери.

— Я тоже, — отвечала мама, — но это же не страшно?

— Не знаю. У нас половину завода уже сократили. Мой цех ещё работает, но заказов уже нет — производить нам нечего. А я литейщик. Где я ещё найду такую работу?

Потом отец всё чаще стал приходиться по вечерам раньше обычного, молчаливый и злой, стал срываться, не спал по ночам, ходил по квартире и почти ничего не говорил. Я начала бояться его ещё больше. Становилось не просто страшно. Становилось жутко. Как перед решающим боем, когда уже знаешь заранее, что он будет проигран. Мне казалось, в доме стали тише говорить. А я не знала, что будет дальше, и не знала, что я могу сделать, чтобы прекратить эту давящую, словно машинка для глажки белья, почти мёртвую тишину, и от понимания, что ничего, мне становилось по-настоящему жутко, словно я потеряла дорогу, по которой шла, и теперь необходимо тратить драгоценное время, чтобы найти её, но с каждой секундой на эту дорогу ложатся новые и новые следы, и найти её кажется совершенно невозможным. Я начинала ощущать, что что-то происходит. Что-то, что изменит и мой город, и мой дом навсегда.

Однажды отец пришёл домой в обед, и я навсегда запомнила то выражение отчаяния, которое он пытался скрыть от меня, но которое выглядывало из-под улыбки, словно притаившийся зверёк, осторожно смотрящий из-за ствола дерева — единственного его убежища.

— Мне придётся уйти, — сказал отец маме за плотно закрытыми дверями. — Завод стоит уже неделю. Денег в этом месяце не будет. И в следующем тоже.

— Ищи другую работу, — ответила мама после долгого молчания, которое мне показалось прогремевшим взрывом. — Займись опять ремонтами.

— Ты не понимаешь, Наденька. Мне обидно. Я всегда шёл другим путём. Я работал столько, сколько мог. Не пил — и получал достаточно де-

нег. А что теперь? Я оказался там, где все они. Тогда какой смысл был во всём, что я делал?

— Но ты же видишь, что творится. Всё со временем наладится. Просто это надо как-то пережить.

— Но мне страшно.

— Мне тоже.

Потом сократили и маму. Она нашла работу где-то в Москве — уезжала рано утром и приезжала домой под самый вечер. Завод закрыли окончательно, цеха распустили, ничего никому не заплатив. И все ходили кругами, писали бумаги кому-то, ругались. И ничего не делали.

Отец поначалу искал новое место литейщика. Потом пытался найти хоть что-то. Звонил знакомым — тем, с кем раньше работал. Но они в основном пили и ничего не искали. Пытался заняться подработкой. Не выходило. Маминой зарплаты едва хватало — отец злился и шатался по городу просто так. Как и все.

\* \* \*

А потом он начал пить. Внезапно, постепенно, помалу. Стал уходить утром, говорил, что ищет работу, а приходил ночью, уставший, нервный, принося с собой терпкий запах папирос и чего-то ещё, чего я раньше в доме никогда не чувствовала. Я помню тот день, когда, вернувшись из школы, с порога ощутила до рези в глазах страшный запах — запах знакомый и привычный, какой обычно жил у нас в подъезде, вместе с чужими голосами и звуками. Я стояла у дверей родительской комнаты, не решаясь войти или хотя бы постучать, потому что понимала — что-то не так. Я помню, как всхлипывала мама и помню грубый голос отца, который в миг изменился — и я едва узнала его. Затем послышался звон, как если бы что-то упало и разбилось, и я быстро выбежала обратно в подъезд, забыв рюкзак и ключи в коридоре.

Тогда я только перешла в девятый класс.

Мама всё чаще стала ночевать в моей комнате, и я слышала, как она плакала ночью. Отца я почти не видела — он запирался у себя и всё время кричал, что за ним кто-то гонится.

— Это они виноваты, — кричал мой отец, — не я, а они! Что же они сделали!

Мне становилось страшно, и я старалась как можно быстрее заснуть. Тот человек, что жил с нами и выходил на кухню только по ночам, стал мне совершенно незнакомым. Я боялась его, жалела, но перестала ненавидеть. Точно впервые почувствовала — он стал мне родным. Впервые почувствовала жалость к нему. Впервые поняла, что он ничем не отличается от других.

Мама старалась не разговаривать с ним. И мы просто сделали вид, что его больше нет, а может, так оно и было.

Для нас он стал предателем.

Я часто просыпалась ночью, замечая, что у моей кровати на коленях сидит отец. Он просто смотрел на меня и ничего не говорил. Можно было подумать, он спит. Но в темноте я чувствовала его большие зелёные глаза. А потом он пытался встать и не мог. Хватался за стены, шатался и опять падал на колени. И тогда я понимала — он не сможет подняться, если ему не помочь.

Денег становилось всё меньше и меньше. Мне перестали покупать новые вещи и учебники, и, если они были нужны, я брала у подруг или соседей. Из тайника однажды пропали все доллары, которые отец так долго копил. Наверное, он пропил и их. А потом он продал машину. Наверное, за бесценок. И больше не осталось ничего, за что я могла бы зацепиться.

Мой отец всегда включал джаз, когда был сильно пьян. Иногда он подпевал. И звук музыки смешивался со звуком его голоса, с запахом спирта, с ощущением вечного неприятия и щемячий жалости.

— Я не могу начать, — пел отец, — я не могу начать жить без тебя. Как же тяжело начать жить без тебя.

Я шла в ванну и включала воду, лишь бы не слышать больше этой дребезжащей музыки, от которой хотелось выть, хотелось схватиться за голову и не просыпаться.

Потом я научилась узнавать и различать песни.

Сегодня — Раскин; завтра — Портер, и отец пел: «...как легко полюбить, если в сердце печаль...» Потом я перестала прятаться в ванной, садилась на корточки под его дверь, курила и слушала. Я облакачивалась на дверь, закрывала глаза и ощущала такую близость, такую жгучую любовь к этому совершенно чуждому мне человеку, что невольно сжимала кулаки, до крови расцарапывая ладони. Мне казалось — именно в эти минуты рождается что-то. Какое-то понимание между нами. Мы невольно говорили, хоть и не видели друг друга.

Мы никогда не были больше так близки, как в эти минуты молчаливого джаза.

А однажды эта дверь открылась.

Отец стоял напротив меня, качаясь, стараясь не упасть, стараясь зацепиться за пальто, висевшее на вешалке, чтобы хоть как-то удержаться.

— Знаешь, чего я всегда хотел? — сказал он. Я всматривалась в его лицо, не узнавая. Небритое, с отвратительно торчащим острым носом. —

Я хотел быть таким, как все. Я не хотел учиться лучше или хуже других. Не хотел зарабатывать больше или меньше других. Не хотел жениться на женщине красивее остальных женщин. Я хотел делать всё так же, как делали это мои одноклассники, сокурсники, друзья или просто знакомые. Просто я делал, а они — нет. Я работал, а они — пили.

— Я знаю, — зачем-то сказала я.

— Знаешь? — отец подошёл ко мне ближе и посмотрел на меня почти с ненавистью. — Знаешь? Ты думаешь, я не видел? Не видел, как ты презираешь меня? Что не приглашаешь домой подруг, потому что боишься этого, — он начал яростно отдиравать дорожную обивку от стен, — вот этого, — начал карябать ногтями обои, — вот этого, — попытался оторвать ручку от шкафа, — думаешь, не видел?

Я закрыла уши ладонями, но он подошёл ко мне ближе.

— Думаешь, я не понимал, с каким отвращением ты садилась в нашу машину. Ту, которую я купил тебе. Для чего? Для чего я всё это делал? Для чего?

— Я не знаю, не знаю, — кричала я, пытаюсь вырваться.

— Я не хотел отличаться — я не отличаюсь. Больше нет ничего, что бы делало тебя какой-то особенной. Теперь я всё это уничтожу и стану таким же, как все. Как всё в этом чёртовом городе. Как же я ненавижу его. Как же я ненавижу всех здесь. Как же я ненавижу себя.

— Но я не виновата.

— А кто виноват? Кто виноват? — отец схватил меня за руку, потом резко отпустил. — Кто-то ведь должен быть виноватым.

А из его комнаты по-прежнему Сидней Беше играл свой блюз. «У меня это было, но теперь всё ушло», — пел он. «У меня это было, но теперь всё ушло», — повторял за ним мой отец. «У меня это было, но теперь всё ушло», — слышала я сквозь шум воды в ванной.

\* \* \*

А потом мама подала на развод. Я помню, как ко мне в комнату вошёл отец, бросил на стол вскрытое письмо.

Это была повестка в суд.

И дни как-то заметно, отчётливо и пугающе стали одинаковыми. словно близнецы, которые вдруг, сговорившись, перестали надевать разную одежду, и люди кругом, даже родная мать, отныне не знают, как отличить их, как заставить их отличаться. Они шли друг за дружкой, словно солдаты, наступая в след идущему впереди,

создавая впечатление, что по дороге шёл только один человек. Один, но оставляя долгий, глубокий, чуть ли не до кости земли отпечаток. Дни замерли в своей бесконечной и не меняющейся похуже, и казалось, не закончатся никогда. Они будто зависли в воздухе, и, чтобы время пошло дальше, необходим был какой-то толчок. Чтобы пружинка вмиг разогнулась, вытолкнув наружу всё, что накопилось там за это время застоя.

Отец стал пить ещё больше, потеряв последнюю необходимость останавливаться, словно парашютист, который наконец-таки осознал, что его парашют не раскроется, а запасного нет, и получает жестокое экзистенциальное удовольствие от своего собственного скорого падения. Он спал, пил, по ночам куда-то уходил. Возвращался — и пил снова. Он словно не понимал — он навсегда уходит туда, откуда вряд ли возможен выход, потому что никто не знает, где вход.

Было странно подмечать, как медленно менялся его голос, становясь хрипло-грубым, как его запах, который всегда сохранялся в доме, словно сами стены берегли его, подобно символу чего-то сильного, неизменного, мужественного, постепенно выветривался, а на его место приходил новый, страшный, неожиданный здесь. Запах стекла.

Мама старалась уходить на работу как можно раньше, а приходила как можно позже, пытаясь, таким образом, показать всему дому, что ничего не происходит. А я начала забывать, как выглядит мой отец. Я смотрела на его фотографии, молодые, ещё чёрно-белые, думая — как мало схожего между этим человеком и тем, незнакомым мне.

Иногда я слышала, как отец умолял маму не уходить, обещал, что всё исправит, начнёт заново, и как мама отвечала ему, что уже поздно. Тогда он кричал, что ненавидит её, что он просто потерял дорогу, а никто не хочет указать ему новый путь, что он не смог поменяться, когда поменялось всё кругом, поменялось вмиг, пока он спал. Он хватал маму за руки, но она всё равно уходила.

И тогда мой отец оставался один. И пил ещё больше.

\* \* \*

А потом как-то внезапно наступило лето — и я закончила десятый класс. Все дни я проводила дома. Можно было спокойно наблюдать, как уходит одна картина и приходит другая, делая вид, что просто смотришь кино или играешь в

нём, но роли выбираешь такие, чтобы забыть о них, как только фильм будет отснят. Я перестала замечать пустые бутылки, которые отец не успевал уносить, — и почти механически выбрасывала их с балкона.

Мама начала прятать вещи, боясь, что отец их продаст, потому что деньги теперь ему не давали даже в долг. А он находил эти вещи и продавал. Я часто не могла найти бокалы из хрустальных сервизов и подменяла их на другие — дешёвые, которые покупала на рынке с рук у таких же алкашей. Поначалу мама не замечала пропаж. Но их становилось так много, что мне не хватало карманных денег. Тогда я просто прятала наборы подальше в шкаф или разбивала их — будто случайно.

Однажды я застала маму в слёзах. Отец стоял рядом, шатаясь и держась за стол, ничего не говоря.

— Продал. Мою вазу тоже продал, — кричала мама. — Я же её купила, когда ты уже пил. Деньги откладывала. Как же я тебя ненавижу! Лучше бы ты вообще ушёл.

И отец уходил. Но я ни разу не видела, чтобы он плакал. Даже когда был сильно пьян.

А потом мама сказала, что мне надо уехать.

— Зачем?

— Родственников навестишь... У меня сестра там живёт двоюродная. Твоя тётя.

— А как же отец? — спросила я, сама испугавшись своих слов, словно они нарушили негласное табу.

— Я взяла тебе билет на следующую неделю, — мама будто не расслышала меня. — А обратный купишь там, когда захочешь. Пойми меня, — сказала она чуть тише, — я познакомилась с другим, с Сашей... И хочу пожить с ним, а когда ты вернёшься, мы что-нибудь придумаем. Отец ведь уже не остановится. Я ведь не обязана... А Саша очень хороший. Он не пьёт. Он выведет нас отсюда.

Я раньше никогда не уезжала далеко от своего города. Я вообще никогда не уезжала от своего города. Он за это время стал для меня бастионом, за которым можно спрятаться, отгородившись от всего, к нему не относящемуся, высокой дамбой, искусственно создавая всё, что может быть нужным: от света солнца до живых людей, лишь бы пространство в городе казалось заполненным, а движение бы никогда не кончалось. И мне было страшно непривычно собирать большие сумки, пакеты с едой и подарками для незнакомых мне людей, которых я никогда не видела, которых бы пожелала никогда и не видеть.

— Это же не навсегда, — успокаивала меня мама, — пока всё не уляжется.

— У меня нет обратного билета, — пожимала я плечами, — а если навсегда? Я даже не помню, как называется этот город.

— Вятский Лес, — сказала мама, — это очень спокойный город.

— Вятский Лес, — повторила зачем-то я, — мой город тоже спокойный.

В день, когда мне надо было уезжать, отца не было дома. Я смотрела на его кровать и думала, что, возможно, я больше никогда его не увижу. Эта мысль не рождала во мне ничего, кроме нежности и сострадания к тому, чего я не могла изменить.

«Я могу больше никогда его не увидеть», — говорила я себе.

Я переворачивала эту фразу, переставляла в ней слова, но смысл её от этого не менялся и по-прежнему оставался неприятно-щекочащим, словно от укуса комара. Мне захотелось взять что-нибудь с собой из его комнаты. Я огляделась — здесь уже не осталось ничего, кроме бутылки с водкой и дисков с джазом. Я взяла несколько дисков — первые, что попались мне под руку, — мне всё равно не на чем было их слушать. Просто хотелось держать в руках то, что когда-то было ценно для моего отца и оставалось ценным до сих пор — ведь их он не продал.

На вокзале мама долго не прощалась и долго не уходила. Стояла рядом, молча, иногда спрашивая, не забыла ли я ту или иную вещь, положила ли я всё, что нужно, будто в этом был какой-то смысл. Словно пыталась, но не могла найти предлог, как не пускать меня в этот страшно большой, слишком большой, скрипящий и харкающий вагон.

Предлог не находился.

— Это же не навсегда, — опять сказала мама, словно убеждая себя в этом. Она поцеловала меня в щёку — и я внезапно ощутила запах её тела.

Я кивнула и зашла в поезд. Она подняла мой чемодан — и поставила рядом со мной на ступеньку.

— Где ты познакомилась с этим Сашей? — спросила я.

— На работе, — мама улыбнулась. — Он...

Я помотала головой и прошла на своё место, таща за собой чемодан. Мне не хотелось слушать про него, просто хотелось показать, что я буду любить всё, что будет любить мама.

Потом я долго смотрела в окно, пытаюсь разглядеть её фигуру там — на уже отъезжающем от меня перроне. Но её не было. А мне так хотелось помахать ей рукой в окошко... Когда перрон совсем исчез из виду, я ощутила острое желание выбежать вон, прийти опять к себе домой

и начать всё заново. Чтобы все всё начали заново.

Ехать нужно было недолго — всего часов десять. Я сидела на нижней полке, слушая разговоры своих соседей. Мне не хотелось спать, не хотелось шевелиться, что-то делать и как-то выказывать своё нахождение здесь.

Хотелось сделать вид, что меня нет, что это не я, а кто-то другой уезжает сейчас в Вятский Лес, чтобы уже никогда из него не выбраться, потому что, чтобы выбраться из него, надо опять научиться слушать музыку, а у меня, кроме трёх дисков, лежащих в сумке, больше не осталось ничего.

Я смотрела, как постепенно начинало темнеть, как появлялись и исчезали города, в которых я никогда не была, как появилась и исчезла моя станция, а когда за окном вместо домов стали мелькать берёзовые рощи, я, наконец, осознала, что поезд движется.

\* \* \*

Утром я была уже в чужом городе. Я вышла из поезда и осмотрелась. Никого рядом не было. Я прошлась по платформе. Она была такая же, как и в моём городе. Такая же маленькая. Такая же безлюдная. А если кое-где и попадались приезжающие, то нервно курящие, ждущие или встречающие кого-нибудь. Мне даже показалось, что я никуда и не уезжала.

Вдруг меня окрикнули. Я обернулась и увидела мужчину — невысокого, худого, небритого и очень сильного.

Совсем как мой отец. Словно он — это тот, кем был мой отец давно, каким я его помнила и каким, наверное, запомню навсегда.

Словно я вернулась в свой дом. Только на несколько лет назад.

Я кивнула ему и поздоровалась.

— Твоя мама звонила, просила встретиться, — словно оправдывая как-то своё присутствие здесь, сказал он. — Вон моя машина, — указал он куда-то, куда не доставал мой взгляд, — пойдём.

Я всё так же молча кивнула и пошла за ним.

По дороге он всё время что-то рассказывал. Про себя, про мамину двоюродную сестру — его жену, про город, иногда указывая в окно на какое-то здание или памятник. Он ничего не спрашивал у меня, ни про то, почему я здесь, ни про то, надолго ли, ни про маму, и мне казалось, что он решил, будто я останусь здесь навсегда.

«Мой отец тоже никогда ни о чём не спрашивал у меня, — подумала я, — не могу вспомнить его голос».

Мы приехали к моей тёте уже к обеду.

— Наконец-то, — услышала я женский радостный голос, как только захлопнула за собой входную дверь.

Я прошла в комнату и увидела длинный стол, весь заставленный едой, трёхлитровыми банками с компотом и вином. Тётя сразу подошла ко мне к столу.

Моя семья никогда так не собиралась. Я забыла как это — осознавать, что ты един с кем-то, что составляет часть тебя.

Я сидела молча, слушая, как они обсуждают работу, предстоящий отпуск, здоровье деда, думая, что больше не хочу вспоминать взгляд мамы, когда она стояла на вокзале. Всё это стиралось, словно ненужные выцветшие чёрточки на асфальте.

Во главе стола сидел дед.

— Это мой папа, — сказала тётя, кивнув ему, — а дети на каникулы разъехались. Так что можешь оставаться у нас, сколько захочешь.

«Наверное, такой и должна быть настоящая семья», — думала я, глядя на них.

— Мой муж сейчас совсем не пьёт, — сказала тётя, когда я помогала ей убирать со стола, — бросил. Когда с работы выгнали, сразу бросил. Твой отец тоже бросит. Они все бросают. Когда нечего больше терять. Мой — машину вон купил. Не бросил бы — не купил. У них всегда так — либо бросают, либо спиваются. Время такое. Я ведь тоже разводиться хотела, да отец отговорил. Ты не волнуйся, — она слегка похлопала меня по щеке, — всё наладится.

Я закивала головой и улыбнулась.

— Я покажу тебе завтра город. Конечно, он не такой большой, как твоя Москва, но...

— Я одна погуляю, я не потеряюсь.

Она отвернулась и начала вытирать посуду.

— И я живу не в Москве, — добавила я.

На следующий день я решила выйти из дома рано — ещё до того, как все проснутся.

Дед уже не спал. А может, так и сидел у окна всю ночь, опершись на палку, приоткрыв форточку, потому что было жарко.

— В Москве-то хорошо. Только людей много, — сказал вдруг он, не обращая ко мне и делая ударение на «о». — Я, правда, ни разу там не был. Как с фронта пришёл, здесь живу. Но, говорят, там сейчас опасно.

— Да я не в Москве живу...

— Всё как-то некогда было, — опять сказал он, точно не услышав меня. — Как с войны пришёл, работать надо. Потом семья. Теперь, кажется, что и не жил вроде. Ничего и не успел. Говорили — всё потом станет. А когда потом? Потом и не стало. А теперь уже... А ты учишься?

— В одиннадцатом...

— Ты учись. Теперь учиться надо. Раньше воевали — теперь учатся. Мать-то как?

Я пожала плечами, а дед махнул рукой и от-  
вернулся, всё что-то приговаривая про себя.

И мне стало жаль его.

— У вас хорошо, — сказала я, — но я здесь не-  
надолго.

— Оставайся, у нас тут есть лес и река, — за-  
улыбался дед, — а в Москве летом-то что де-  
лать?

\* \* \*

На лестнице было темно, и я на ощупь за-  
крыла ключом дверь, развернулась, сделала шаг  
назад и чуть было не столкнулась с кем-то.

— А, это ты, — сказала какая-то девушка.  
Я не могла разглядеть её в тёмном подъезде. —  
На лето приехала, да? — Она усмехнулась, слов-  
но я была её давней подругой, которую она жда-  
ла со дня на день.

— Не знаю. У меня нет обратного билета.

— Из Москвы...

— Да не совсем...

— А я тут живу, — она указала на дверь, со-  
седнюю с моей, открыла её ключом и посмотре-  
ла на меня. — Заходи.

Я чуть помедлила, испытывая странное же-  
лание убежать, потом, не спеша, прошла за ней.

Её квартира была очень маленькая, одноком-  
натная, тёмная, с необычно длинным коридо-  
ром, уходящим куда-то вбок, за угол.

Она сразу, не разуваясь, прошла на кухню.  
А я сняла ботинки и прошла в комнату. Она  
молча приготовила чай, ни о чём не спрашивая  
меня, и зашла в комнату с двумя дымящимися  
чашками в руках. Поставила их на столик около  
дивана и села рядом со мной. И только сейчас,  
при утреннем свете, я смогла рассмотреть её.

Я ничего не могу вспомнить сейчас. Только  
её запах. Такой дерзкий, словно она пыталась  
построить стену с его помощью между ней и  
всем, что к ней не имело никакого отношения.  
И тот, кто был принят к ней, в её мир, сразу же  
становился пленником этого страшного своей  
неприкрытой страшностью запаха.

Иногда мне снится этот запах. Он стоит ря-  
дом и держит меня за руку. Ничего не говорит.  
И не отпускает. Просто стоит и держит. А если я  
пытаюсь бежать, он так сильно сжимает мою ла-  
донь, что я держусь за воздух, чтобы не закри-  
чать. Её комната находилась через стенку от  
той, где спала я. Наверное, этот запах сбегал от  
неё, как только она засыпала, и ложился ко мне,  
словно пёс, охраняющий свою косточку. Воз-

можно, она понимала это и злилась. Потому что  
ей не нужно было принимать меня в свой мир —  
он сделал это за неё.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Ольга.

Я повторила её имя и тоже представилась, хо-  
тя она не спрашивала, словно в этом не было не-  
обходимости, словно это была простая ненужная  
её истина, которую она тот час позабыла.

Я не знала, зачем она позвала меня к себе и  
что хотела сказать, потому что она сидела мол-  
ча, смотря на меня исподлобья, иногда откиды-  
вая движением головы со лба длинную прядь  
волос, отчего все её редкие движения казались  
грубыми и резкими, словно бы угловатыми, и  
неожиданными. Её голос казался подчёркнуто  
отрывистым, как от ангины, словно каждое про-  
изнесённое слово причиняло ей боль. Она ско-  
рее говорила жестами и взглядом, отгораживаясь,  
таким образом, от меня и от всего остально-  
го мира.

— Я здесь ненадолго, — опять сказала я.

— Все так думают, — она усмехнулась и по-  
жала плечами.

— Все? — не поняла я.

— Пойдём. Покажу тебе город, — сказала она,  
даже не глядя на меня, будто меня здесь и не  
было. Сказала так, словно я был преступник,  
впервые попавший в камеру, а она — единствен-  
ный человек, способный провести меня по всем  
мукам.

Весь день мы гуляли по её городу.

Он оказался меньше, чем я думала, гораздо  
меньше моего. Здесь был всего один небольшой  
парк, с аллеями и скамейками. Один кинотеатр,  
но настолько старый, что кресла в нём были с  
рваной обивкой, а кое-где просто стояли сту-  
лья — без номеров. На дорогах почти не было  
машин, да и людей встречалось мало, словно зи-  
мой на южном курорте.

Мы заходили в магазины, кафе, ходили по  
скверикам, искусственно превращённым в берё-  
зовые рощи, катались на качелях в детском пар-  
ке — и она смеялась и прижималась ко мне, как  
бездомный щенок прижимается к первому же  
человеку, взявшему его на руки.

Этот город казался мне уютным, не враждеб-  
ным, как мой, не бросающимся дождём или сол-  
нцем в лицо — а такой крохотный, нежный,  
словно маленький ребёнок. И я думала, что луч-  
ше быть сейчас здесь — с настоящей семьёй,  
хоть и не имеющей ко мне никакого отношения;  
с этой девушкой — молчаливой, точно героиня  
из старых книг; чем — быть там. В доме, где дав-  
но уже никого близкого, а лишь страшные, не  
похожие на меня тени.



— Зря ты сюда приехала, — сказала она, когда уже вечером мы сидели на скамейке у нашего дома.

— Мои родители разводятся... — начала было я.

— Сбежала?

— Но у меня не было выбора. Мама познакомилась с другим..

— Выбор всегда есть. Ты делаешь выбор, даже когда не делаешь его. Молчание — это тоже выбор.

Я промолчала и сделала вид, что не слышала её.

— Мои родители тоже сбежали, — сказала она. — Я родилась в Киеве, жила там двадцать лет. А потом мы приехали сюда — к родственникам. Как и ты. И остались. И я ничего не сделала. Как и ты.

— От чего они сбежала?

— Думали, в Москву переберёмся со временем... — Она пожала плечами. — Знаешь, у меня ведь здесь ничего нет. А всё, что было, — осталось там. А здесь... Здесь только город и я. Я и город. И эти дороги, которые я знаю наизусть. Я ненавижу их. Они такие одинаковые. И люди здесь одинаковые. Знаешь, в этом городе ведь совсем некуда идти. Иногда я выхожу ночью из дома, иду по этим мерзким, узнаваемым, а от этого ещё более мерзким улицам и не знаю, как и куда мне бежать от них. Я знаю здесь всё. Каждый куст, каждое дерево, каждый поворот, каждый дом. Я знаю, куда приведёт эта тропинка, знаю, чем кончится этот переулок. Знаю, сколько машин разбивается каждую неделю на этом перекрёстке и сколько детей рождается здесь каждый год. Но я не знаю, что мне со всем этим делать. Этот город слишком мал для меня. Я выхожу и чувствую, как он сжимается вокруг меня в кольцо, и чем больше и длиннее я делаю шаги, тем сильнее он давит на меня, словно паук, медленно окружающий паутиной свою жертву. И надо бежать, пока ещё можешь. Я чужая этому городу. Он не принимает меня. В Киеве я могла ходить по дорогам целый день и всё же иногда теряться. И это было так приятно — теряться. Я бы всё отдала за возможность потеряться здесь. Но это так сложно! Так сложно.. Я не думала, что может быть так сложно теряться. Понимаешь, здесь только один трамвай. Он так и ездит целый день по кругу. Один и тот же. Каждый день.

— В моём городе нет трамваев.

И она впервые улыбнулась.

— Когда я узнала, что ты из Москвы, я так обрадовалась — словно эмигрант, вдруг услышавший русскую речь.

Я хотела что-то сказать, но она не смотрела на меня.

— А твой отец? — вдруг сказала она.

— Что — мой отец?

— Он ведь остался. Один.

\* \* \*

Утром я позвонила домой. Трубку долго никто не брал. Потом я услышала голос отца. Он что-то пробормотал и, видимо, случайно нажал на рычаг, потому что послышались короткие гудки. Значит, отец сейчас дома. Значит, он живёт в одной квартире с мамой и с незнакомым Сашей. А я была здесь.

— Нет никого? — спросил дед. Он по-прежнему сидел у окна, точно что-то неименное для этого дома. Точно дух.

Я покачала головой.

— Дочка моя тоже хотела уходить. Я не дал. Разберутся, — он махнул рукой, — не волнуйся.

Ольга открыла дверь, улыбаясь так, словно давно ждала меня.

— Ты любишь музыку? — сразу спросила она.

— Джаз...

— У тебя есть пластинки?

Я сходила за дисками отца. Она долго смотрела на них, вертела в руках, рассматривала со всех сторон, пробовала на вес, точно слиток золота. Затем выбрала одну и поставила Сиднея Беше. Заиграл «Маленький цветок».

— Это пластинки моего отца... — Я вспомнила, как слушала эту песню под дверью его комнаты, медленно поджигая постоянно гаснущую сигарету. — Он их слушал, когда..

— Когда пил... — продолжила Ольга.

Я кивнула.

— Мой отец никогда не пил. У нас такого не было. Почему он любил джаз?

— Он как-то рассказал мне про Майлза Дэвиса. Тот каждую ночь выходил на американские улицы и играл на саксофоне. А люди кидали ему мелочь, не зная — кто он такой. А потом он шёл в ближайший бар и пропивал её. А однажды выиграл свой золотой саксофон. Наверное, мой отец ждёт, когда повезёт и ему. А чего ждёт твой отец?

— Мы с ним почти не видимся, с тех пор как приехали сюда.

— Почему?

— Мне нечему у него учиться. Он слабак. Как и твой.

— Мой отец не слабак. Это мы другие. Но мы ничем не лучше. Он просто оказался не готов к тому, что произошло. Но мой отец всегда хотел,

чтобы было по-честному. А мы хотим, что было по-нашему. Вот и вся разница.

— Но твой отец разрушил всё, что ему принадлежало. Разве нет?

— Может быть, — сказала я. — Но ему было что разрушать. А ты? Тебе и разрушать-то нечего. Упрекаешь меня в том, что я уехала? — я усмехнулась. — Да, я уехала, но я уехала, чтобы не быть там — в той реальности. А что делаешь ты? Тычешь меня, как повинившегося щенка, в эту реальность. Зачем? Я уехала в этот лес, а ты вырубашешь его прямо перед моим носом и заставляешь щуриться от внезапно появившегося солнца. Я уехала сюда, чтобы не быть там. Так позволь мне не быть там. Отведи меня к реке, покажи ваш мир, не тот, от которого я сбежала. Другой. Свой.

Она смотрела прямо мне в глаза, спокойно, с той холодностью, которой обычно прикрывают убийство.

— Но другого мира нет, — сказала она. — Его нужно построить.

Она взяла меня за руку, стиснув её так, что я чуть не вскрикнула от резкой боли, словно я была её нелюбимой дочерью, и повела за собой. Я осторожно освободила свою руку — она, казалось, не заметила этого.

\* \* \*

Она повела меня на самую окраину города, через трамвайные рельсы, через парк. Мы шли долго и, наконец, вошли в лес.

Мы поднялись на высокий холм, весь покрытый одуванчиками и издали напоминавший гигантское солнце. Она по-прежнему шла впереди меня, а я за ней еле успеваю. Вдруг она остановилась. Я подошла к ней ближе. Мы стояли на вершине холма, у самого обрыва — позади нас был лес, а внизу текла река, похожая на зеленоватую змейку. Было очень высоко, и я боялась, что у меня закружится голова, но она подвела меня к самому краю и заставила смотреть вниз.

— Видишь, вон там, внизу, — она указала туда, где начиналась речка, — видишь? Там твой отец. И твоя мать. Это их мир. И они больше сюда не поднимутся. А здесь — наверху — наш мир. Но мы здесь с тобой совсем одни.

И она села на траву — у самого обрыва. Свесив ноги. И вызывающе посмотрела на меня.

Я села на корточки рядом с ней, взяла её руку и слегка притянула к себе.

Она резко встала, толкнув меня так, что я чуть не упала вниз, и обняла за плечи.

Я отвернулась от неё, сделала шаг назад и вдруг почувствовала, что позади меня пустота.

А она продолжала сжимать мои плечи, впиваясь в них ногтями так, что я ощущала почти физическую боль. Я сделал ещё один маленький шаг, но отступать было некуда. Я могла навсегда потеряться в этом лесу или упасть вниз, но я начинала ощущать — мне это сейчас безразлично.

— Я уехала, чтобы не быть там. Было бы только хуже, — сказала я, ощущая, как от её запаха начинаю задыхаться, словно та сила, которая была в ней, уже почти подчиняет меня себе, подчиняет, не оставляя мне абсолютно никакого выбора и шанса эту силу побороть.

Её запах проникал через плечи в мою кожу, становясь почти частью меня, и я, пытаюсь не впускать его, инстинктивно сжимала её пальцы, не давая им проникнуть ещё глубже.

— А куда хуже?

\* \* \*

Следующим утром я опять пыталась позвонить домой. Но шли всё время короткие губки. И я подумала, возможно, папа, увидев, что меня так долго нет дома, испугался и звонит теперь по всем моим друзьям и своим знакомым. Чтобы найти меня. И возможно, он позвонит сюда. Мне так хотелось услышать его — сказать, что всё будет хорошо, что я наконец-то полюбила его, потому что поняла — как это страшно — оказаться там, где сейчас он.

Я положила трубку и ждала. Но позвонили в дверь.

Оля улыбалась так, как будто ничего не произошло, держа в руках два диска, которые вчера остались у неё.

— Я возьму один, — сказала она, не спрашивая у меня разрешения, — Дженкинса, «Прощай». Возможно, мне нужно научиться слушать твою музыку.

И она отвернулась, чтобы уйти.

Я назвала её по имени.

Она остановилась, но не обернулась.

— Я хочу покататься на вашем единственном трамвае.

Мы сидели рядом в старом, трескавшемся по швам, скрипящем трамвае, каких ни в моём городе, ни в Москве уже не осталось.

Я что-то спрашивала у неё, пыталась говорить с ней, а она просто сидела рядом, не отвечая и держа меня за руку так, словно хотела остаться со мной навсегда.

— Мне нравится твой город, — сказала я ей. — Мне кажется, ты не уезжаешь из него не потому, что тебе некуда ехать, а потому, что есть в нём что-то, что заставляет его любить. Ты ска-

зала, что здесь ничего не меняется. Но ведь это же так хорошо. Мне было так страшно чувствовать, что в моём городе происходит что-то, чего ни я, никто другой не может контролировать.

Она по-прежнему ничего не отвечала.

— Я не хочу уезжать, — опять сказала я. — Я хочу, чтобы сюда приехала моя семья и осталась со мной. Мне кажется, здесь мы бы смогли начать всё сначала.

Она чуть повернула голову вбок, взглянув на меня, но продолжая молчать.

— Я не хочу уезжать, — повторила я, — я не хочу уезжать. Я не хочу уезжать домой одна.

Я повторяла и повторяла эти одни и те же слова, как заклинание.

Я смотрела в окно, на медленно проезжавшие дома и людей, вдруг начиная ощущать чуть ли не кожей это чужое небо, чужую жизнь и этого чужого человека рядом, держащего мою руку, не отвечающего на мои вопросы, потому что нарушать ту тишину, которая возникла вдруг вместе с ощущением одиночества, было почти кошмаром.

Начинало уже темнеть, а мы всё катались и катались по кругу в одном и том же единственном трамвае, молчали и иногда курили, пряча сигареты в ладони.

И она улыбалась. Она очень красиво улыбалась. Редко и неожиданно. Её улыбка напомнила мне выстрел, резко разрывающий пространство на тысячи частей, освящая всё вокруг каким-то особенным, почти электрическим светом, а потом также неожиданно исчезающим, оставляющим после себя лишь отзвук чего-то безмерно печального и уходящего. Я смотрела на её улыбку, и мне хотелось дотронуться до неё, почувствовать под своими пальцами что-то живое, лёгкое.

— Не уходи, — вдруг попросила она, когда мы подошли к нашему дому. — Я хочу кое-что показать тебе, — я чувствовала, как тяжело даётся ей каждое слово.

Я кивнула.

— Закрой глаза.

Я закрыла глаза, инстинктивно выставив вперёд руки. Она взяла их и повела за собой. Я чувствовала, что мы поднимаемся по лестнице, всё выше и выше, потом что-то скрипнуло, видимо замок. Затем ещё несколько ступенек, потом мы прошли немного по асфальту и, наконец, остановились, и она провела по моим закрытым глазам так, что у меня задрожали ресницы.

Я стояла на самом краю крыши девятиэтажного дома, а она держала меня за плечи, подчиняя себе и тому ощущению свободы, которое

всё пыталась мне навязать. Я смотрела вниз, прижималась к ней, всё сильнее чувствуя её дерзкий запах. И тогда я впервые услышала музыку. Ту, которую хотела найти. Это была музыка, которую могли дать друг другу только мы.

— Этот город такой же потерянный, как и мы, — сказала она. — Из него все уезжают, уезжают, уезжают. И никто не возвращается. Наверное, я единственная, кто остался в нём.

Я дотронулась до её ресниц, погладила волосы, убрав её длинную чёлку с глаз, и, наконец, коснулась её улыбки.

— И ты тоже уедешь, — сказала она. — И мы останемся с ним вдвоём. Ты возьмёшь меня с собой? — вдруг попросила она. — Заберёшь?

— Но я не могу.

— Почему? — Она обняла меня, прижав так сильно к себе, что я на минуту перестала дышать от того ощущения беспокойства, которое вдруг начало сжимать мои запястья. — У меня здесь ничего нет.

— А у меня там ничего нет.

Она долго молчала, смотрела в мои глаза, будто пытаясь прочитать все мои мысли, все мои желания, все мои страхи.

Потом она обняла меня и поцеловала. И мне стало страшно. Страшно оттого, что я не хотела уходить.

Тогда я поцеловала её сама. Сначала осторожно, точно испугавшись того, что её дыхание вдруг станет моим, а я не буду знать, что мне с ним делать. Потом всё сильнее, прижимаясь к её губам, словно в них был источник моей энергии и мне нужно было пить из него, как из родника.

И я чувствовала, что она — это я. Что больше нет отдельно её и отдельно меня. Что есть только мы. Она стала мной. И я понимала, что даю ей что-то, чего у неё никогда не было, что-то, что ей было необходимо получить именно от меня, именно сейчас и именно здесь. Нам нужно было получить друг от друга.

Я была для неё тогда чем-то родным, отдающим тепло и жалость. Во мне она искала заботу, которую сама себе не могла дать, которую не могла найти в этом городе, замыкающемся в самом себе и не дающем выхода. Я была тем, кто мог дать ей этот выход.

И она цеплялась за любую возможность почувствовать своё не-одиночество. Мы не были похожи, но мы были тогда одним человеком; человеком, растерявшим вдруг весь смысл своего пути, человеком остановившимся, человеком потерявшимися. Человеком, желающим, чтобы его нашли.

Я смотрела в её открытые глаза — и всё вокруг становилось коричневым от их света: и комната, и небо, и её тело, всё. Она — совсем маленькая девочка, которой нужна была моя нежность, которая прижималась ко мне так, как ребёнок впервые прижимается к матери.

Я осталась с ней на ночь — и ждала, пока она уснёт. А потом долго смотрела на неё, стараясь всё запомнить, всё полюбить. Мне хотелось оберегать её от всего, что может случиться с ней в её странной жизни. Я обняла её — и она инстинктивно прижалась ко мне.

А мне было страшно засыпать. Я не знала, что будет дальше. И мне не хотелось, чтобы наступало утро. У меня было ощущение, что что-то изменилось навсегда.

\* \* \*

Утром я проснулась и не могла понять где. Ольги не было рядом. Я встала и прошла на кухню.

Она стояла спиной ко мне.

— Оля, — позвала я.

И она обернулась, почувствовав меня. Долго смотрела. Точно не узнавая.

— Когда ты уезжаешь? — спросила.

— У меня нет обратного билета.

— А мама?

— У мамы есть Саша.

Она опять долго смотрела на меня. Так, точно хотела что-то сказать и не решалась.

— И что мы будем делать?

Я пожала плечами.

— Жить... Не так, как они. Так, как хотим.

И снова долгое молчание.

— А если я скажу, что ты мне не нужна.

— Что?

— А если я скажу, что ты мне не нужна, — повторила.

Я смотрела на неё и не понимала. Она опять долго ничего не говорила, словно боялась нарушить то равновесие, что породили её слова. Я чувствовала, как у меня начинают дрожать руки, я испытывала почти физическую боль, начинающуюся где-то в груди и не заканчивающуюся.

— Но так не бывает, — сказала я. — Что-то же должно быть дальше.

— Что?

— Не знаю. Но что-то должно.

— Ничего, — сказала она. — Ничего.

— Оля, — опять позвала я.

— Не надо. Всё это не имеет смысла. Я не хочу, чтобы ты была здесь, когда я вернусь. Возвращайся домой. Больше тебе здесь делать нечего.

— А ты?

— Неужели ты не поняла — мне здесь ничего не нужно.

И она ушла. И я осталась одна.

Долго сидела на полу, просто, без цели. Потом встала, умылась, забыла выключить воду в ванной — и она набралась до самых краёв.

Посмотрела на себя в зеркало. Ничего не изменилось. И я зарыдала. Сильно. Не сдерживаясь. Как в детстве.

Мне было шестнадцать, мне было страшно и мне хотелось домой — к маме.

Я прорыдала час, может, три, может, намного больше. Я не могла уйти, не увидев её. Но я знала, что она не придёт, пока я здесь, в её доме, пока я не ушла, пока не уехала. Я встала и вышла, не закрыв за собой дверь и не взяв ничего из её дома, даже той пластинки с музыкой Дженкина.

Я быстро прошла в свою комнату, стараясь быть незаметной, чтобы не пришлось отвечать ни на чьи расспросы, и позвонила домой. Мне хотелось услышать мамин голос.

Но трубку снял незнакомый чужой мужчина.

— Папа? — неуверенно спросила я.

— Нет, это... Это Саша. Надя спит... Ты её дочь, наверное... — ответил голос.

— Да. А где папа?

— Я... Я не знаю. Он ушёл.

— Я завтра приеду... Маме передайте, — сказала я и положила трубку.

\* \* \*

На следующий день я быстро собрала вещи. На все расспросы тёти я отвечала, что мама просила меня вернуться. Она не поверила, но мне было всё равно. Дед всё также сидел у окна и смотрел на дорогу. Я попрощалась с ним. Он машинально кивнул, не оборачиваясь. И я ушла.

Я посмотрела на дверь Оли. Мне было страшно, что она откроется. Но я стояла и смотрела в замочную скважину. Возможно, она тоже стояла и смотрела. С другой стороны.

Дядя отвёз меня на станцию, я купила билет на тот же вечер и, почти не попрощавшись с ними, лишь попросив их позвонить домой, села в поезд. И сразу уснула.

Через десять часов я была уже на московском вокзале.

Меня встретила одна мама.

— А где... Саша? — спросила я.

— А Саши нет, — ответила мама. — Он ушёл. Так никуда и не привёл меня. Просто ушёл и всё.

— Слабак, — сказала я вполголоса.

— Нет. Он не слабак. Просто так бывает. Ты думаешь, я виновата, что с отцом это случилось? Мне кажется, что я.

Я помотала головой и ничего не ответила. И вдруг мама обняла меня. На перроне. Посреди толпы людей.

— Прости меня, не нужно было тебе уезжать, — сказала она, — твой отец тоже ушёл. Бросил пить и сразу ушёл. Я даже не знаю, где он сейчас живёт. Только не вини меня ни в чём.

— Я не виню, мне жаль, что всё вот так... мама, — сказала я и заплакала как тогда — в квартире Ольги.

Я не узнавала свой город.

Он стал иным, будто друг детства, который вдруг вырастает, а ты не замечаешь этого. Просто однажды встречаешь его и понимаешь — он начинает смотреть и говорить как-то по-другому. Как-то иначе. Не так, как ты привык.

В городе было много новых людей — и он смотрел на меня печально и тоскливо. Словно хотел сказать: «Да что им всем нужно от меня?» Я шла по своим улицам, дорогой, которая была мне знакома, и не ощущала больше единства с ней.

Мой дом тоже стал совсем иным. Новые обои, новый запах от стен. Новая мебель. Не было ничего, что отец когда-то делал своими руками. Вместо мужественности, которая жила здесь вместе с ним, появилась тоска. Тоска, от которой хотелось бежать. Не было вещей отца. Он всё забрал, даже свои пластинки. Я поставила «Беззаветную любовь» Хенди — единственное, что осталось у меня.

\* \* \*

Отца я увидела только осенью. Я тогда перешла в последний класс своей школы.

Ко мне в комнату вошла мама и села на край кровати.

— Папа приехал... Иди — он не говорит со мной.

Я вышла из подъезда и машинально остановилась под крышей, потому что шёл дождь.

Отец стоял напротив меня, около своей новой, слишком большой для него одной машины, приоткрыв переднюю дверцу, под дождём, даже не достав зонт. Мы стояли и смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Он очень изменился. Мне казалось, он постарел. И было что-то в его глазах. Какая-то жалость ко всему прочему миру, печаль, которая так и не нашла выхода, так и поселилась навсегда в его зелёных, ставших такими незнакомыми глазах.

Он достал из машины коробку и протянул мне. Коробка тот час намочла. Я, наконец, по-

дошла к нему, взяла коробку и поставила её на землю — в самую грязь.

— Матери отдашь. Это ваза, я тогда... продал... — отец не договорил.

Он сел в машину и закрыл дверцу. Но всё не уезжал. И мне вдруг захотелось сказать ему что-то. Сократить тот путь, что пришлось по одиночке пройти каждому из нас.

— Мне очень жаль, — прошептала я одними губами, потому что не хотела, чтобы мой голос вдруг сорвался, — папа, — я провела рукой по влажному стеклу, — папа.

— Иди домой, — кивнул отец и чуть приоткрыл окно, — простудишься.

Я помотала головой.

Тогда отец вышел из машины и обнял меня за плечи.

— Мне тоже жаль, — сказал он, — но всё будет хорошо.

Потом он вдруг зашептал мне в самое ухо:

— Я так не хотел тебя терять.

Я прижалась к нему — от него по-прежнему пахло мужественностью и силой.

Он уехал, а я ещё долго стояла под дождём, держа в руках испачканную коробку с вазой, не желая возвращаться в свой дом, пахнущий отныне тоской и свежей краской.

\* \* \*

Потом всё наладилось. Мы жили вдвоём с мамой.

Я купила себе новые диски с джазом и иногда ставила их тихонько ночью, потому что не хотела, чтобы мама слышала музыку, которая всё же напоминает об отце. Отец и для меня, и для неё стал прошлым. Он так и не простил маму. Так больше никогда и не приходил. И никогда не говорил с ней. Иногда он звонил мне — и я знала, что он живёт с какой-то женщиной, неплохо зарабатывает и совсем не пьёт. Возможно, он нашёл тот выход, который не смогли найти мы вместе. А возможно, он навсегда потерялся в том лесу, в котором оказались все в то странное время перемен.

А в моём городе всё постепенно менялось. Приезжали новые люди, строили новые дома. Они не были предателями, нет, они были во многом правы — но мне всё же было жаль их. Они учились жить заново, они смотрели на своих отцов, в глазах которых навсегда поселилась эта бессмысленная тоска, и ничем не могли помочь им. Как и я. Они учились друг у друга, потому что им нечему было учиться у своих родителей. Это совсем другие люди. Их много. Их очень много. Наверное, они понравились бы

Ольге. Наверное, ей было бы хорошо в этом новом городе.

Но если все эти люди выйдут на улицу — город просто исчезнет под их шагами. Когда-нибудь они разрушат его. Их станет слишком много, и они так сильно раскрутят свою планету, что она не выдержит и взорвётся.

А однажды в моей новой комнате раздался звонок.

— Ты помнишь меня?

И я моментально узнала её.

— Помню, — ответила я.

— А помнишь — на крыше сидели?

— Помню...

— А помнишь?..

— Я помню...

— Почему ты не сделала тогда выбор?

— Я сделала.

— Но ведь ты уехала.

— Это и был мой выбор.

И она долго ничего не говорила. И я тоже. И не решалась первой повесить трубку.

— Ты очень редко называла меня по имени, — наконец, сказала Ольга. — Я хочу услышать, как оно звучит, если ты его произносишь. Только медленно. Пожалуйста.

Я назвала её имя. Медленно. Как она и просила. Почти по слогам. Потом ещё и ещё. Пока не услышала гудки. И сквозь них — отчаянную, дремучую, бьющую прямо в виски тишину.

У неё осталась моя пластинка. Наверное, иногда она включает её. И тогда Дженкинс поёт: «Прощай».

Мы больше никогда с ней не виделись. Я не знаю, где она.

Может быть, она уехала туда, куда так стремилась. А может — по-прежнему живёт в своём городе. Всё также ненавидит его, сидит на крыше, гуляет по лесу, спускается к реке. И слушает иногда мою музыку. Мне бы хотелось, чтобы было так. Но я ничего не хочу знать о ней. Так же как отец ничего не хочет знать о моей маме.

\* \* \*

Я сажусь в электричку, в сторону от Москвы. Через час эта электричка остановится и дальше не поедет. Потому что дальше ничего нет. А я выйду и увижу лес.

2007 год